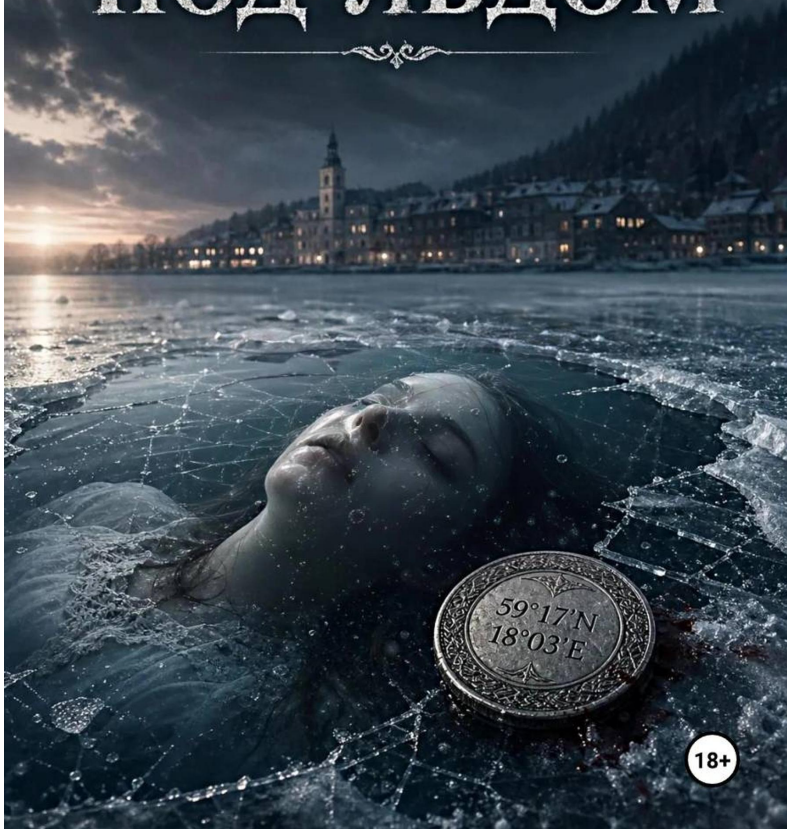


Эрика Оттенс

Серебро ПОД ЛЬДОМ



18+

Эрика Оттенс

Серебро под льдом

<https://litres.ru/74677118>

SelfPub; 2026

Аннотация

В день зимнего солнцестояния подо льдом замерзшего озера находят тело молодой девушки Софи, дочери местного мэра. На ее теле нет следов насилия — она замерзла заживо, но в рот ей заложили старинную серебряную монету с выцарапанными координатами.

Расследование ведет детектив Арне Стен, у которого свои счёты с этим городом. По мере того как Арне погружается в дело, он понимает: Софи вела теневую жизнь, шантажируя половину элиты города. Но когда начинают погибать свидетели, детектив осознает, что убийца — не просто мститель, а кто-то, кто зеркально повторяет почерк серийного убийцы, якобы покончившего с собой 20 лет назад. Каждый персонаж, с которым говорит Арне, лжет, и у каждого есть мотив.

Эрика Оттенс

Серебро под льдом

Часть первая

Глава 1

Холмен не столько жил, сколько существовал — тяжело, хрипло, будто город был старым, измученным зверем, который давно перестал надеяться на избавление и лишь покорно нес на себе бремя веков. Чёрные скалы, обступившие его со всех сторон, казались не просто геологическим образованием, а чем-то вроде исполинских надгробий, воздвигнутых над самой идеей покоя. Море, угрюмое и седое, билось о камни с монотонной, почти ритуальной настойчивостью, словно пыталось что-то выговорить, но язык его был слишком древен и забыт, чтобы его мог понять хоть один из живущих здесь.

Ледяной дождь лил не как стихия, а как приговор — мелкий, колючий, въедающийся в кожу, пробирающийся под одежду, в кости, в самую суть человека, выстуживая изнутри ту теплоту, которая ещё теплилась в груди. Он не прекращался неделями, месяцами, будто небо решило смыть с Холмена всякий след радости, оставив лишь сырость, грязь

и ту особую, вязкую тоску, которая въедается в душу, как ржавчина в железо. Туман стелился по улицам, обволакивая дома, фонари, редкие фигуры прохожих — он был не просто погодным явлением, а чем-то сродни живой, разумной субстанции, которая знала все тайны города и хранила их в своей непроницаемой белизне, не желая ни выдавать, ни забывать.

В день зимнего солнцестояния, когда солнце лишь на мгновение касалось горизонта — бледным, бессильным лучом, тут же поглощаемым свинцовым небом, — на окраине города, у замёрзшего озера, собралась небольшая, угрюмая толпа. Люди стояли, ссутулившись, пряча лица в воротники, и даже их молчание было каким-то особенным — не тишиной, а густым, тяжёлым звуком, в котором слышались невысказанные страхи, старые вины и та особая, почти физическая тяжесть, которую обретают места, где случается нечто непоправимое.

Тело Софи нашли мальчишки — они пришли сюда, чтобы испытать лёд, проверить, выдержит ли он их вес, и, возможно, ненадолго забыть о той давящей тишине, что царила в их домах. Они не кричали сразу — сначала просто стояли, вглядываясь в тёмное пятно под прозрачным слоем льда, будто надеясь, что это не человек, а просто тень, игра света и холода. Но когда один из них, самый смелый или самый глупый, ударил палкой по льду, и тот с сухим треском пошёл трещинами, открывая то, что пряталось внизу, крик всё же

вырвался наружу — резкий, отчаянный, пронзивший туман и заставивший обернуться даже тех, кто старался не замечать происходящего.

Софи лежала подо льдом, словно в хрустальном саркофаге, её лицо было спокойным, почти безмятежным, будто она не боролась, не звала на помощь, а просто приняла холод как нечто неизбежное. Её волосы, тёмные и густые, распластались вокруг головы, напоминая водоросли, а пальцы были слегка согнуты, будто до последнего мгновения она пыталась за что-то ухватиться — за жизнь, за надежду, за чью-то руку, которой так и не оказалось рядом. На её теле не было следов насилия — ни порезов, ни синяков, ни переломов. Только холод, безжалостный и всепроникающий, сделал своё дело. Она замёрзла заживо, и в этом было что-то особенно жуткое — не внезапность смерти, а её медленное, ледяное наступление, которое Софи, должно быть, чувствовала каждой клеткой своего тела.

Но было и ещё кое-что. Когда тело подняли и лёд раскололи окончательно, в рот Софи была заложена старинная серебряная монета — потемневшая от времени, с выцарапанными на ней координатами. Монета казалась не просто странным сувениром, а чем-то вроде послания, ключа, проклятия — никто не мог сказать наверняка. Её края были чуть закруглены, будто её долго носили в кармане, перебирая пальцами, и на металле остались едва заметные царапины — следы чьих-то нервных, торопливых движений. Коор-

динаты, грубо выцарапанные на поверхности, выглядели так, будто их наносили в спешке, почти в отчаянии, и от этого они казались ещё более зловещими — как признание, которое убийца не решился произнести вслух.

Глава 2

Поезд, скрипя и вздыхая, будто сам был измучен долгой дорогой, замер на перроне, и этот звук — резкий, скрежещущий, почти болезненный — отозвался в груди Арне Сте-на чем-то давно забытым, но не умершим: той самой тупой, ноющей тяжестью, которая всегда приходила вместе с возвращением в Холмен. Казалось, даже воздух здесь был иным — не просто холодным, а каким-то особенно плотным, насыщенным влагой и памятью, будто каждая капля ледяного дождя несла в себе отголосок чьей-то невысказанной боли, чьего-то застарелого страха.

Арне вышел из вагона медленно, не потому что не спешил, а потому что знал цену каждому шагу, когда возвращаешься туда, где прошлое не просто ждёт — оно караулит, притаившись в тених, готовое вонзиться в сердце, как осколок стекла, забытый в старом пальто. Его пальто, поношенное, с тяжёлыми, пропитанными дождём плечами, казалось частью этого города — такой же усталой, такой же молчаливо упрямой. Он остановился на краю перрона, вдыхая этот воздух, и на мгновение ему показалось, что он снова слышит тот самый гул — не шум ветра, не рокот волн, а внутренний, глухой, неумолимый гул, который поселяется в голове после того, как ты слишком долго смотрел на то, на что смотреть не следовало.

Дождь хлестал по лицу мелкими, колючими каплями, проникая под воротник, стекая по шее ледяной дорожкой, и Арне не пытался укрыться. Он знал: никакая куртка, никакой зонт не спасут от этого холода — он шёл не снаружи, он поднимался изнутри, из самых тёмных закоулков памяти, где прятались образы, которые он столько лет пытался стереть.

Холмен встречал его не гостеприимно — он встречал его как старого врага, которого терпят лишь потому, что избавиться от него невозможно. Дома, прижавшиеся друг к другу, словно искали защиты от ветра, казались не жилищами, а крепостями, чьи стены были возведены не столько для того, чтобы укрывать, сколько для того, чтобы скрывать. Туман стелился по улицам, обволакивая фонари, превращая их свет в тусклые, дрожащие пятна, похожие на глаза призраков, наблюдающих за каждым движением.

И вдруг — среди этой серой, вязкой мглы — он увидел её. Ингрид.

Она стояла у края перрона, чуть в стороне от суетящихся носильщиков и редких пассажиров, и даже издали в ней чувствовалась та особая, почти пугающая собранность, которая всегда отличала её: не напряжённость, а готовность — к спору, к защите, к бегству, если потребуется. Её пальто было тёмным, почти чёрным, и казалось, будто оно впитывает в себя весь сумрак вокруг, делая её одновременно и более заметной, и более призрачной. Волосы, когда-то пышные, те-

перь были собраны в тугой узел, и в этой строгой причёске было что-то почти воинственное — будто она заранее готовилась к битве, зная, что избежать её не удастся.

Их взгляды встретились — и в этом мгновении не было ни радости, ни облегчения, ни даже простого узнавания. Была только тишина — тяжёлая, густая, наполненная всеми теми словами, которые они не сказали друг другу за годы молчания. И в этой тишине чувствовалось напряжение, осязаемое, почти физическое, словно между ними натянули невидимую струну, готовую лопнуть от малейшего прикосновения.

— Арне, — произнесла она наконец, и её голос прозвучал не как приветствие, а как констатация факта, холодная и неизбежная, как этот дождь. — Я знала, что ты приедешь. Рано или поздно. Этот город умеет звать тех, кто пытался от него сбежать.

Он не ответил сразу. Просто смотрел на неё, пытаясь разглядеть за этой строгой, почти неприступной маской ту самую Ингрид, которую он когда-то знал — ту, что смеялась над его неуклюжими шутками, ту, что умела согреть даже в самые лютые холода, ту, что верила, будто справедливость — это не иллюзия, а нечто, чего можно достичь, если не сдаваться. Но теперь в её глазах не было ни доверия, ни тепла — только настороженность, смешанная с чем-то, похожим на усталость, будто она давно перестала ждать чего-то хорошего от этой встречи.

— Ты пришла встретить меня, — наконец сказал он, и его

голос прозвучал непривычно хрипло, будто слова царапали горло изнутри. — Или пришла убедиться, что я действительно вернулся?

Она чуть наклонила голову, и в этом движении проступила та самая гордость, которая всегда была в ней — не высокомерие, а упрямство, выкованное годами жизни в этом городе, где слабость считалась роскошью, которую никто не мог себе позволить.

— Я пришла, потому что знала: ты не поедешь в участок прямо с поезда, — спокойно ответила она. — Ты пойдёшь туда, куда тянет тебя прошлое. А значит, мне нужно было поговорить с тобой до того, как ты снова начнёшь копать.

Арне чуть нахмурился, и в его груди шевельнулось старое, знакомое чувство — смесь раздражения и горькой благодарности. Ингрид всегда знала его слишком хорошо. Лучше, чем он сам.

— И что ты хочешь мне сказать? — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без эмоций. — Что мне не стоит ворошить прошлое? Что я снова сделаю только хуже?

Она не отвела взгляда. Не стала прятаться за вежливыми фразами.

— Я хочу сказать, — тихо, но твёрдо произнесла она, — что этот город не прощает тех, кто слишком глубоко копает. Ты это знаешь. Мы оба это знаем. И если ты снова пойдёшь по этому пути... если ты снова позволишь справедливости разрушить тебя изнутри... я не смогу тебя спасти. В

прошлый раз я пыталась. И это почти сломало меня.

Её слова ударили точно в то место, где боль была самой острой, самой незажившей. Арне сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони — эта физическая боль была почти облегчением, потому что она отвлекала от той, другой, которая жила в нём годами, разъедаая изнутри, как кислота.

— Я не прошу тебя меня спасти, — глухо ответил он. — Я просто делаю свою работу.

— Твоя работа, — горько усмехнулась она, — всегда была для тебя больше, чем работа. Это было твоё покаяние. Твоя попытка искупить то, что ты не смог предотвратить. Но покаяние не должно убивать. А ты... ты позволяешь ему высасывать из тебя жизнь.

Он хотел возразить, хотел сказать, что она не понимает, что не может понять — никто не может, пока сам не окажется на его месте, не почувствует этот холод, эту тяжесть вины, которая становится частью тебя, как шрам, который никогда не исчезает. Но слова застряли в горле, потому что где-то в глубине души он знал: она права. Справедливость, за которой он гнался столько лет, действительно разрушала его — медленно, методично, не оставляя ничего, кроме пустоты и усталости.

Дождь усилился, превратившись в сплошную водяную завесу, и на мгновение мир сузился до этого маленького пространства между ними — двух людей, когда-то любивших друг друга, а теперь разделённых не расстоянием, а годами

молчания, обид и невысказанных упрёков.

— Прости, — вдруг тихо произнёс Арне, и эти слова дались ему тяжелее, чем любой допрос, тяжелее, чем любое признание вины. — Прости, что я не смог быть тем, кем ты хотела меня видеть. Что я не смог оставить это прошлое позади.

Ингрид долго смотрела на него, и в её взгляде мелькнуло что-то, похожее на боль, но тут же исчезло, спрятавшись за привычной маской спокойствия.

— Дело не в том, кем ты был или кем я хотела тебя видеть, — тихо сказала она. — Дело в том, кем ты становишься. И я боюсь, что если ты снова погрузишься в это расследование, ты потеряешь себя окончательно. А я... я всё ещё помню того человека, которого когда-то любила. И мне горько видеть, как он исчезает.

Арне опустил голову, чувствуя, как холодный дождь стекает по лицу, смывая не грязь, а что-то гораздо более важное — остатки той уверенности, с которой он приехал сюда. Впервые за долгое время он почувствовал не ярость, не решимость, а просто усталость — ту самую, которая приходит, когда понимаешь, что борешься не только с преступниками, но и с самим собой.

— Я должен это сделать, — наконец произнёс он, поднимая глаза. — Не ради искупления. Не ради справедливости. А потому что если я этого не сделаю, я перестану себя уважать. И тогда... тогда от меня действительно ничего не оста-

нется.

Ингрид кивнула, будто принимая неизбежное.

— Тогда будь осторожен, — тихо сказала она. — Этот город не просто хранит тайны. Он защищает их. И он не любит, когда кто-то пытается их раскрыть.

Они стояли под ледяным дождём, два человека, когда-то бывших близкими, а теперь стоящих на разных берегах одной и той же реки, и между ними была не просто дистанция — была целая пропасть, выкованная годами боли и молчания. Но в этот момент, среди шума дождя и ветра, в их взглядах мелькнуло что-то, что на мгновение соединило их снова — не любовь, не доверие, а понимание: они оба знали, что впереди их ждёт нечто тяжёлое, и оба были готовы встретить это, каждый по-своему.

— Прощай, Ингрид, — тихо произнёс Арне, поворачиваясь, чтобы уйти.

— До встречи, Арне, — ответила она, и в её голосе прозвучала странная, почти отчаянная надежда. — Надеюсь, она будет при лучших обстоятельствах.

Он пошёл прочь, оставляя её стоять под дождём, и с каждым шагом чувствовал, как прошлое смыкается вокруг него, как ледяная вода, медленно поднимающаяся всё выше и выше. Впереди его ждало расследование, тайны Холмена и призраки, которых он так долго пытался забыть. И он знал: на этот раз ему не удастся сбежать от них. На этот раз ему придётся встретиться с ними лицом к лицу.

К месту происшествия прибыл детектив Арне Стен — не в парадной форме, не с помпой, а тихо, почти незаметно, будто сам был частью этого серого, промозглого пейзажа. Он шёл по скользкой тропинке, не торопясь, не размахивая руками, не пытаясь казаться важнее, чем он есть. Его движения были скупыми, выверенными, словно он давно привык экономить силы, зная, что впереди его ждёт нечто, что потребует всей его выдержки. Пальто на нём было старым, поношенным, но аккуратным, а взгляд — тяжёлым, пристальным, будто он пытался разглядеть не только детали преступления, но и ту невидимую нить, что связывала их с прошлым города, с его тайнами, с его молчаливыми, но красноречивыми стенами.

Арне остановился в нескольких шагах от тела, не подходя слишком близко — не из брезгливости, а из уважения к мёртвым и к тому напряжённому молчанию, которое всегда возникает там, где жизнь обрывается слишком рано. Он смотрел на Софи, и в его глазах не было ни любопытства, ни восторга сыщика, напавшего на след, а скорее странная, почти болезненная сосредоточенность человека, который знает: каждое дело — это не просто загадка, а чья-то сломанная судьба, и разгадывая её, ты неизбежно прикасаешься к чужой боли.

— Что мы имеем? — спросил он тихо, не оборачиваясь, обращаясь скорее к самому себе, чем к собравшимся вокруг

полицейским и медикам.

Один из местных, молодой, явно нервничающий, начал торопливо перечислять факты, будто надеялся, что, выложив всё сразу, он сможет поскорее уйти отсюда, сбежать от этого пронизывающего холода и от того тяжёлого чувства, которое висело в воздухе.

— Никаких следов насилия, — пробормотал он, избегая смотреть на тело. — Судя по всему, она замёрзла. Лёд... он, наверное, уже был, когда она сюда пришла. Или упала и не смогла выбраться. Но эта монета... мы не знаем, что она значит.

Арне медленно наклонился, рассматривая монету, но не прикасаясь к ней — он знал цену малейшему следу, малейшему отпечатку. Координаты были выцарапаны грубо, неаккуратно, но чётко, и от этой небрежности становилось ещё страшнее: будто убийца не стремился к совершенству, а хотел, чтобы послание было понятно даже в спешке.

— Кто она? — спросил Арне, поднимая глаза на одного из полицейских, человека постарше, с лицом, изборозждённым морщинами, которые, казалось, хранили в себе все тайны Холмена.

— Софи, — ответил тот, и в его голосе прозвучала странная, почти виноватая интонация, будто само упоминание её имени было чем-то неловким, неприличным. — Дочь мэра. Ей было двадцать три.

Арне на мгновение прикрыл глаза, будто пытаясь удер-

жать в памяти это имя, связать его с чем-то, что он уже знал или подозревал. Мэр Эриксон... да, это имя здесь знали все. И не только из-за его должности, но и из-за той особой, почти осязаемой власти, которую он имел над городом — власти, основанной не на законах, а на старых связях, на взаимных обязательствах, на том молчаливом договоре, который заключают между собой люди, привыкшие прятать свои грехи за фасадом благопристойности.

— И что она делала здесь? — спросил Арне, обводя взглядом пустынный берег, тёмную гладь льда, серые силуэты домов на другом берегу. — Почему именно это место?

Полицейский пожал плечами, но в этом жесте было не столько незнание, сколько нежелание знать.

— Никто не видел, как она сюда пришла, — сказал он. — Никто не слышал криков. В этом городе... люди привыкли не слышать лишнего.

Арне кивнул, будто это объяснение было ему знакомо, почти привычно. Да, в Холмене умели не слышать. Умели не видеть. Умели молчать, когда молчание становилось тяжелее любого крика.

Он снова посмотрел на Софи. Её лицо, искажённое холодом, всё ещё сохраняло черты юности, но в нём уже не было той живой энергии, которая отличает молодых — только странная, почти неестественная неподвижность, будто смерть не просто забрала её, а запечатала в этом мгновении, оставив навсегда на границе между жизнью и чем-то иным.

— Осмотрите всё вокруг, — приказал Арне, выпрямляясь. — Каждый камень, каждую ветку, каждый след на льду. Здесь должно быть что-то ещё. Убийца не оставляет таких посланий просто так. Он хочет, чтобы мы что-то поняли. Или чтобы мы никогда не поняли.

Пока полицейские расходились, выполняя приказ, Арне остался стоять один, вслушиваясь в шум прибоя, в шёпот дождя, в ту особенную тишину, которая наступает после того, как самое страшное уже случилось. Он знал Холмен. Не по отчётам, не по картам, а по собственным шрамам — этот город когда-то забрал у него нечто важное, нечто, что нельзя вернуть, и теперь, возвращаясь сюда, он чувствовал, как прошлое смыкается вокруг него, как ледяная вода, медленно поднимающаяся всё выше и выше.

И где-то в глубине его сознания шевельнулась мысль, холодная и неумолимая, как этот дождь: Софи была не первой. И, возможно, не последней. В Холмене прошлое никогда не умирало по-настоящему. Оно лишь пряталось в тених, ожидая момента, когда кто-нибудь снова потревожит его сон. И теперь этот момент настал.

Глава 3

Мёртвый дом, как называли в Холмене городской морг — не из поэтической прихоти, а из той особой, почти физиологической точности, с какой этот город именовал вещи, — стоял на отшибе, у самой кромки леса, будто стыдясь своего назначения и стараясь держаться подальше от людских глаз. Здание было приземистым, сложенным из тёмно-серого камня, который со временем будто впитал в себя всю сырость побережья и стал почти чёрным; швы между плитами были забиты мхом, и казалось, что стены дышат — медленно, тяжело, словно удерживая внутри себя эхо всех тех безмолвных криков, что когда-либо звучали под его сводами.

Внутри пахло не просто формалином — пахло отчаянием, вываренным до стерильной прозрачности, пахло тем особым, едким холодом, который не имеет отношения к температуре воздуха, а рождается из самой сути смерти: она здесь не была абстракцией, не была далёкой тенью; она была вещественной, осязаемой, въедающейся в кожу, в лёгкие, в самую способность дышать спокойно.

Оли стояла у стола, склонившись над телом Софи, и её движения были до странности медленными, почти ритуальными — не от нерешительности, а от той внутренней тяжести, которая приходит к человеку, когда он осознаёт, что

каждое прикосновение, каждый разрез, каждый зафиксированный факт — это не просто работа, а вторжение в чужую трагедию, в чью-то оборванную жизнь. Её пальцы, тонкие и жилистые, привыкли к этой работе, но сегодня они словно сопротивлялись, будто сами знали: перед ними не просто тело, а чья-то надежда, чья-то любовь, чьё-то будущее, превратившееся в холодный, неподвижный объект.

На ней был халат, давно потерявший первоначальную белизну; на груди — бейдж с именем, едва различимым под слоем потускневшего пластика. В её глазах, серых и глубоких, как вода в глубокой расщелине, читалась усталость — не физическая, а та, что накапливается годами, капля за каплей, пока не становится частью тебя, как шрам, который ты перестаёшь замечать, но который никуда не исчезает.

Совість Оли проснулась слишком поздно — не в тот день, когда она впервые взяла в руки скальпель, и даже не тогда, когда перестала удивляться жестокости мира. Она проснулась в тот момент, когда поняла, что привыкла к этому холоду, что научилась не слышать в тишине морга отголосков чужих жизней. И теперь, глядя на Софи, она чувствовала, как эта проснувшаяся совесть царапает изнутри, напоминая: ты не просто фиксируешь факты, ты прикасаешься к чьей-то боли.

Арне Стен вошёл в помещение тихо, почти бесшумно, будто сам боялся нарушить эту тяжёлую, густую тишину, в которой каждый звук — даже скрип двери — звучал как ко-

щунство. Его пальто, всё ещё влажное от дождя, оставляло на полу тёмные капли, и эти капли казались чем-то вроде следов его вины, его усталости, его неспособности остаться в стороне. Он остановился у порога, не подходя ближе, и его взгляд скользнул по комнате — по стальным столам, по полкам с пробирками, по холодному блеску инструментов, — и задержался на Оли.

— Ты готова? — спросил он, и в его голосе не было ни приказа, ни нетерпения — только та особая, вымученная сдержанность человека, который знает цену каждому слову, потому что каждое слово может стать спусковым крючком для воспоминаний, которые он столько лет пытался удержать под замком.

Оли не подняла глаз сразу. Она будто собирала силы, чтобы встретиться с ним взглядом, зная, что в его глазах она увидит не просто коллегу, не просто следователя, а того самого Арне, которого она когда-то знала — того, кто ещё верил, что справедливость можно удержать в руках, не сломав при этом себя.

— Готова, — тихо ответила она, и её голос прозвучал непривычно хрипло, будто слова царапали горло. — Но... я должна сказать тебе кое-что сразу. Это не будет просто.

Он кивнул, не требуя пояснений. Он знал: в Холмене «не просто» означало «больно».

Аутопсия началась — не как холодный, отстранённый процесс, а как медленное, мучительное обнажение истины,

слой за слоем, будто сама смерть сопротивлялась тому, чтобы её разобрали на факты и цифры. Оли работала методично, с той особой тщательностью, которая рождается не из педантичности, а из уважения к мёртвым: она не спешила, не пыталась скрыть от Арне ни одной детали, даже самой жестокой. Каждый её жест, каждый наклон головы, каждый едва уловимый вздох — всё это было частью этого тяжёлого ритуала.

И вот, когда казалось, что уже не осталось ничего, что могло бы удивить — ни следов насилия, ни признаков борьбы, ни даже намёка на то, что Софи сопротивлялась своей судьбе, — Оли замерла. Её пальцы, привыкшие к холоду металла и плоти, вдруг дрогнули, и это едва уловимое движение было страшнее любого крика.

Она наклонилась чуть ниже, прищурившись, будто пытаясь разглядеть в этой неподвижной, застывшей тишине что-то, что ускользало от взгляда. Потом осторожно, почти благоговейно, коснулась рта Софи — не грубо, не торопливо, а так, словно боялась причинить ей боль даже сейчас, когда боль уже не имела значения.

— Здесь... — тихо произнесла Оли, и её голос дрогнул, но она тут же взяла себя в руки, будто стыдясь этой слабости. — Здесь что-то есть.

Арне шагнул ближе — не резко, не порывисто, а так, будто каждое движение давалось ему с трудом, словно он сам чувствовал этот холод, проникающий под кожу. Он смотрел,

как Оли осторожно, миллиметр за миллиметром, извлекает из рта Софи старинный предмет — монету.

— Ещё одна ? — удивился он

Монета была потемневшей от времени, с неровными, будто выцарапанными в спешке краями; на её поверхности тускло поблёскивали выгравированные координаты — те самые, что уже успели стать зловещим знаком, предвестником чего-то большего, чем просто убийство. Металл был холодным, почти ледяным, и когда Оли положила монету на стальную подставку, звук, с которым она коснулась поверхности, прозвучал в тишине как приговор.

— Я видела такие раньше, — тихо сказала Оли, не глядя на монету, а будто обращаясь к самой себе. — Не часто. Но видела. Это старые монеты. Их использовали... ну, не для оплаты. Для чего-то другого. Как символы. Как... метки.

Арне наклонился, рассматривая монету, но не прикасаясь к ней. Его интересовало не столько физическое доказательство, сколько смысл, скрытый за этим жестом. Убийца не просто оставил монету — он оставил послание, и это послание было адресовано не полиции, не городу, а кому-то конкретному. Или, что ещё страшнее, всем сразу.

— Кто мог это сделать? — тихо спросил Арне, и в его голосе прозвучала не столько просьба о фактах, сколько мольба о понимании — о том, чтобы кто-то помог ему собрать воедино эти осколки смысла, пока они не рассыпались окончательно.

Оли медленно покачала головой, и в её взгляде мелькнуло что-то похожее на стыд — будто она чувствовала себя виноватой за то, что не может дать ему тот ответ, который он ищет.

— Не знаю, — честно призналась она. — Но я знаю одно. Это не случайность. Такие вещи не делают просто так. Это... ритуал. Или игра. Или и то, и другое.

Арне выпрямился, и на мгновение его лицо исказилось от внутренней боли — той самой, что жила в нём годами, разъедая изнутри, как кислота. Он закрыл глаза, пытаясь удержать в памяти образ Софи — не такой, какой она была сейчас, холодной и неподвижной, а такой, какой она могла быть при жизни: смеющейся, мечтающей, полной надежд, которые теперь навсегда остались нереализованными.

— У неё был жених, — вдруг произнёс он, и эти слова прозвучали не как вопрос, а как попытка ухватиться за что-то реальное, за что-то, что можно было проверить, измерить, понять. — Кто он?

Оли на мгновение замерла, будто взвешивая, стоит ли говорить то, что она знает. Потом вздохнула — тяжело, глубоко, будто пытаясь выдохнуть из себя всю ту тяжесть, что накопилась за годы работы в этом городе, где каждый знал, что правда редко бывает простой.

— Его зовут Эрик Вик, — тихо сказала она. — Он... непростой человек. В городе о нём ходят слухи. Говорят, он... вспыльчив. Что у него... непростой характер.

Арне кивнул, будто эти слова не удивили его, а лишь подтвердили то, что он уже подозревал. В Холмене у каждого была своя тень, свой скрытый угол, где прятались страхи и грехи. И если у Эрика Вика эта тень была особенно густой, это ещё не делало его убийцей — но делало его первым, на кого падёт подозрение.

— Я хочу посмотреть ему в глаза. Хочу услышать, как он будет объяснять, почему его невеста оказалась подо льдом, с монетой во рту.

Оли снова вздохнула, и в этом вздохе прозвучала не усталость, а горькое понимание: в этом городе правда редко приходила легко, а справедливость — ещё реже.

Глава 4

В его голове крутились слова, которые он столько раз повторял себе, пытаясь оправдать свою одержимость поиском справедливости: «Я должен знать. Я должен понять». Но теперь, стоя здесь, среди холода и тишины, он вдруг почувствовал, как эта одержимость сжимает его изнутри, как стальной обруч, который с каждым днём становится всё туже. Справедливость, за которой он гнался столько лет, действительно разрушала его — медленно, методично, не оставляя ничего, кроме пустоты и усталости.

Но он не мог остановиться. Не потому что верил, что сможет всё исправить, а потому что знал: если он остановится сейчас, если позволит себе хотя бы на мгновение забыть о Софи, о её оборванной жизни, о той боли, которую кто-то так старательно спрятал под слоем льда и молчания, — тогда он потеряет не только дело, но и себя. А этого он позволить себе не мог.

Дверь открылась, и в проёме показалась фигура Эрика Вика. Он был высоким, широкоплечим, с лицом, которое могло бы казаться привлекательным, если бы не та особая, почти пугающая напряжённость, которая чувствовалась в каждом его движении. Его глаза, тёмные и блестящие, метались по комнате, будто он пытался найти в ней что-то, что могло бы оправдать его присутствие здесь, что могло бы объ-

яснить, почему он стоит перед телом своей невесты, перед следователем, перед этой холодной, безжалостной реальностью.

— Где она была? — вдруг резко, почти грубо спросил Эрик, и в его голосе прозвучало не столько горе, сколько ярость — та самая, о которой говорила Оли. — Почему она пошла туда одна? Почему никто не остановил её?

Арне посмотрел на него долго, пристально, пытаясь разглядеть за этой яростью то, что скрывалось глубже: боль, вину, страх — или что-то гораздо более тёмное.

— Мы пытаемся это выяснить, — спокойно ответил он. — Но у нас есть вопросы. И я хочу, чтобы вы ответили на них честно.

Эрик сжал кулаки, и на мгновение Арне показалось, что тот готов сорваться, ударить, закричать — сделать что угодно. Но потом он вдруг обмяк, будто из него выпустили воздух, и его лицо исказилось от боли — настоящей, неподдельной, той, которую невозможно сыграть.

— Спрашивайте, — тихо, почти шёпотом произнёс он. — Я отвечу на всё.

Арне кивнул. Он знал, что впереди его ждёт долгий, мучительный разговор, в котором каждое слово будет взвешиваться, каждое движение — анализироваться, каждая эмоция — подвергаться сомнению. Но он также знал, что именно в этих разговорах, в этих столкновениях с чужой болью и чужими тайнами, и рождается та самая истина, которую он

так отчаянно искал.

И пусть она будет горькой, пусть она будет разрушительной — он должен её узнать. Ради Софи. Ради себя. Ради того, чтобы в этом холодном, безжалостном городе хоть что-то имело значение.

Арне сделал едва уловимый жест — не приглашающий, не властный, а скорее отстранённый, будто сам не хотел приближать к себе эту чужую бурю эмоций. Он указал на жёсткий металлический табурет у стены — тот самый, на котором обычно сидели родственники, когда им предстояло услышать то, что невозможно было ни принять, ни забыть. Эрик не сел — он рухнул на него, словно ноги больше не могли держать его тяжесть, и тут же снова вскочил, будто прикосновение к этому месту обожгло его.

— Не могу, — хрипло бросил он, и в этом «не могу» слышалось не столько нежелание, сколько физическая невозможность: будто само пространство, его холод, его стерильная безжалостность высасывали из него силы, лишали опоры.

Арне не стал поправлять его, не стал говорить пустых слов о том, что тело — лишь оболочка, что душа уже ушла. В Холмене такие слова звучали не утешением, а насмешкой — слишком многие здесь знали, что оболочка порой кричит громче любого голоса. Вместо этого он медленно, с нарочитой неторопливостью, достал из папки лист бумаги и положил его на край стола.

— Расскажите мне о ней, — тихо, почти буднично произнёс Арне, и эта будничность, эта намеренная сухость прозвучала в комнате страшнее любого крика. — Не ту Софи, которую знал весь город — дочь мэра, будущая жена, примерная девушка. Расскажите ту, которую знали вы. Ту, о которой, возможно, никто не должен был знать.

Эрик замер, будто эти слова ударили его не по чувствам, а по самому фундаменту его существования. Его пальцы, крупные, с обломанными ногтями, судорожно сжались и разжались, словно он пытался ухватиться за что-то невидимое — за воспоминание, за оправдание, за ту нить, которая ещё связывала его с прежней жизнью.

— Она... — начал он, и голос его сорвался, как у человека, который слишком долго держал всё внутри, и теперь, когда плотина дрогнула, слова хлынули не потоком, а рваными, болезненными всплесками. — Она была... не такой. Не такой, какой её хотели видеть. Её отец... мэр... он хотел, чтобы она была безупречной. Чтобы каждый её шаг, каждый взгляд, каждое слово были выверены, как в парадном отчёте. А она... она задыхалась от этого. Она говорила, что чувствует себя как в витрине — красивой, неподвижной, мёртвой ещё до того, как умрёт.

— Она пыталась вырваться, — продолжал Эрик, и теперь в его голосе уже не было ярости — только усталость, глубокая, всепоглощающая, как тот туман, что вечно висел над Холменом. — Она начала... копать. В бумагах отца. В ста-

рых делах. Она говорила, что в городе есть что-то... неправильное. Что-то, что все знают, но делают вид, что не замечают. Она хотела вытащить это на свет. Хотела, чтобы все увидели.

Арне чуть наклонил голову, и в его взгляде мелькнуло то самое, едва уловимое напряжение, которое появлялось всякий раз, когда он чувствовал, что стоит на пороге чего-то важного — и одновременно опасного.

— И что она нашла? — спокойно спросил он, хотя внутри у него всё сжалось в тугой, ледяной комок. Он уже догадывался, куда ведёт этот рассказ, и предчувствие было таким острым, что почти причиняло физическую боль.

Эрик на мгновение прикрыл глаза, будто пытаюсь спрятаться от собственных слов, от той правды, которую он столько времени старался не произносить даже про себя.

— Я не знаю всего, — глухо признался он. — Клянусь, я не знаю. Она... она не хотела втягивать меня. Говорила, что так будет безопаснее. Но я видел... я видел, как она прячет какие-то папки. Как переписывает что-то в блокнот, который всегда носила с собой. И... и однажды я нашёл у неё эту монету. Ту самую. Она лежала у неё в ящике, завернутая в лоскут старой ткани. Я спросил, что это. А она только посмотрела на меня... так странно... и сказала: «Это ключ. Или предупреждение. Я ещё не поняла».

В комнате повисла тишина — густая, тяжёлая, наполненная не отсутствием звуков, а их подавлением. Даже монотон-

ное гудение ламп казалось сейчас каким-то особенно злое- щим, будто само здание прислушивалось к этим словам, за- поминая их, чтобы потом использовать против кого-нибудь.

Арне медленно перевёл взгляд с Эрика на монету, лежав- шую на стальной подставке. Теперь её тусклый блеск приоб- рёл совсем иной смысл — она перестала быть просто уликой, превратившись в звено цепи, соединявшей Софи с чем-то гораздо более тёмным, чем просто её личная трагедия.

— Вы никому не говорили об этом? — спросил Арне, и в его голосе прозвучала не угроза, а почти мольба — мольба о том, чтобы хоть здесь, в этом рассказе, не оказалось лжи.

Эрик резко, почти судорожно покачал головой.

— Нет! — почти выкрикнул он, и этот крик, вырвавший- ся из самой глубины его отчаяния, эхом прокатился по хо- лодным стенам. — Я не говорил! Я хотел... я хотел защитить её. Я думал, что если никто не узнает, если я просто буду рядом, буду следить, чтобы с ней ничего не случилось... Но я не уследил. Я не смог.

Его плечи вдруг опустились, и он снова рухнул на табу- рет, на этот раз не пытаясь подняться. Его лицо, ещё недав- но искажённое яростью и болью, теперь выглядело пугающе пустым — как у человека, который только что осознал всю тяжесть своей вины и понял, что никакой силы, никакой ре- шимости не хватит, чтобы её искупить.

— Где был этот блокнот? — тихо, но твёрдо спросил Ар- не. — Тот, в который она всё записывала?

Эрик поднял на него глаза — красные, воспалённые, полные такой муки, что даже у Арне, привыкшего к чужой боли, сердце на мгновение сжалось.

— Его нет, — прошептал Эрик. — Я искал. Везде. Дома. В её вещах. В том месте, где она обычно прятала важные бумаги. Его просто... нет. Кто-то забрал его. Или она сама уничтожила. Но я... я думаю, что его забрали. Потому что она бы не стала. Она бы не оставила всё вот так, без следа.

Оли тихо подошла ближе и осторожно, не нарушая хрупкого равновесия этой сцены, протянула Арне прозрачный пакет. Внутри лежал тот самый лоскут ткани, в который Софи заворачивала монету. Ткань была старой, выцветшей, едва заметной вышивкой по краю — такой тонкой, что узор почти стёрся, но всё ещё угадывался, словно призрак какого-то забытого смысла.

— Это нашли рядом с телом, — тихо сказала она. — В складках одежды. Возможно, убийца... или тот, кто оставил монету... не заметил. Или не придал значения.

Арне взял пакет, не прикасаясь к ткани напрямую, и поднёс его ближе к свету. Узор был странным — не цветочный, не геометрический, а какой-то угловатый, будто составленный из ломаных линий, складывающихся в нечто, отдалённо напоминающее руны. Или символы. Или просто бессмысленные завитки — если не знать, что искать.

В голове Арне вдруг всплыли старые, полузабытые воспоминания — обрывки разговоров, слухи, которые ходили по

Холмену двадцать лет назад, когда город содрогался от серии убийств, казавшихся ритуальными. Тогда тоже находили странные предметы — амулеты, монеты, лоскуты ткани с похожими узорами. Тогда говорили о «зеркальном убийце» — о человеке, который копировал преступления давно казнённого маньяка, будто пытался воскресить его тень. Тогда дело так и не раскрыли до конца, а подозреваемый... тот, кого все считали виновным, покончил с собой в камере, оставив после себя лишь несколько бессвязных записок и ощущение, что всё это было лишь верхушкой айсберга.

И теперь эти линии, эти символы, эта монета — всё это складывалось в узор, который Арне боялся признать. Узор, который говорил о том, что прошлое не просто вернулось — оно ждало. Ждало момента, когда кто-нибудь снова начнёт копать слишком глубоко.

— Спасибо, Эрик, — неожиданно спокойно произнёс Арне, и это спокойствие прозвучало в комнате как нечто почти противоестественное — как тишина перед бурей. — Вы рассказали многое. Это поможет.

Эрик посмотрел на него с какой-то отчаянной надеждой, словно цеплялся за эти слова, как за последнюю опору.

— Значит, вы найдёте того, кто это сделал? — с трудом выговорил он. — Вы заберёте у него то, что он украл у меня... у нас?

Арне медленно кивнул, но в его глазах не было уверенности — только решимость, холодная и безжалостная, как ве-

тер с моря.

— Да, — тихо, но твёрдо сказал он. — Я найду. Но вы должны пообещать мне одну вещь. Не пытайтесь ничего выяснять сами. Не ходите по тем местам, где она могла бывать. Не спрашивайте ни у кого о ней. Если тот, кто это сделал, почувствует, что вы приближаетесь к правде... он не остановится ни перед чем.

Эрик хотел возразить, хотел сказать, что не может просто сидеть сложа руки, что должен что-то делать, должен как-то бороться с этой пустотой, которая разрасталась внутри него с каждой секундой. Он медленно, почти механически кивнул.

— Хорошо, — прошептал он. — Я... я буду ждать.

Когда он вышел, дверь тихо закрылась за ним, и комната снова погрузилась в свою привычную, ледяную тишину. Арне долго стоял, глядя на лоскут ткани, на монету, на едва уловимые линии узора, будто надеялся, что они сами раскроют ему свою тайну.

— Ты думаешь, это он? — тихо спросила Оли, нарушив молчание. — Тот самый... из прошлого?

Арне не сразу ответил. Он провёл ладонью по лицу, словно пытаясь стереть с него усталость, напряжение, тяжесть всего того, что ему предстояло сделать.

— Не знаю, — честно признался он. — Но я чувствую... чувствую, что мы только что коснулись чего-то очень старого. Чего-то, что давно ждало своего часа. И если это действительно он... если кто-то решил повторить его путь... тогда

мы имеем дело не просто с убийцей. Мы имеем дело с одержимостью. С чем-то, что питается чужими страданиями и растёт на них, как плесень на сырой стене.

Оли кивнула, и в её взгляде мелькнуло понимание — горькое, тяжёлое, но необходимое. Она знала Холмен. Знала, как глубоко здесь умеют прятать свои тайны. И знала, что когда эти тайны начинают выползать наружу, они редко делают это тихо.

— Что будем делать? — спросила она, и в этом вопросе не было ни страха, ни сомнений — только готовность стоять рядом, сколько бы это ни стоило.

Арне снова посмотрел на монету, и на мгновение ему показалось, что её тусклый металл отражает не свет ламп, а те самые тени, что прятались в уголках города, в старых легендах, в невысказанных страхах жителей Холмена.

— Сначала проверим все старые дела, — твёрдо произнёс он. — Всё, что связано с тем убийцей. Все зацепки, все показания, все несостыковки. И найдём, кому ещё Софи могла показывать этот блокнот. Кто ещё мог знать о её поисках.

Он сделал паузу, и в этой паузе прозвучала вся тяжесть его решения — решения, которое он принимал не ради славы, не ради награды, а потому что знал: если он не сделает этого, Софи так и останется просто именем в отчёте, просто жертвой в череде бесконечных трагедий Холмена. А он не мог этого допустить.

— А потом, — тихо добавил он, — мы заставим этот город

говорить. Даже если ему придётся делать это сквозь зубы. Даже если правда окажется страшнее любой лжи.

Оли молча кивнула и принялась аккуратно упаковывать улики, её движения снова стали размеренными, почти ритуальными — как у жрицы, готовящей подношения мрачному божеству, которое требовало не цветов и не вина, а истины, какой бы горькой она ни была.

А за стенами «мёртвого дома» ледяной дождь продолжал падать, смывая с улиц города все следы, все намёки, все случайные знаки — будто сам Холмен пытался стереть всё, что могло бы привести к разгадке. Но Арне знал: пока есть хоть одна ниточка, хоть один намёк, хоть одно слово, сказанное в отчаянии, — он не остановится. Потому что справедливость, даже если она разрушает его изнутри, была единственным, что ещё держало его на ногах. Единственным, что не давало ему самому превратиться в одну из тех теней, что вечно бродили по улицам Холмена, не находя покоя.

Глава 5

Дождь не утихал — он лишь менял свой ритм, переходя от яростного, хлещущего напора к мелкой, въедливой мороси, которая проникала под воротник, оседала на ресницах, превращала каждый вдох в испытание. Арне шёл по улицам Холмена медленно, почти механически, будто ноги сами помнили дорогу к старому дому, а сознание старалось не поспевать за ними — потому что знало: стоит только позволить воспоминаниям вырваться на свободу, и они сметут всё, что он с таким трудом удерживал внутри.

Дом стоял в конце узкой, кривой улицы, зажатый между двумя более высокими зданиями, словно стыдился своего скромного вида, своей изношенной, облупившейся штукатурки, своих покосившихся ставен, которые давно перестали открываться. Он казался не жилищем, а чем-то вроде надгробия — молчаливым памятником тем дням, когда Арне ещё верил, что сможет спасти кого-то, кроме самого себя.

Ключ, тяжёлый и холодный, долго не хотел входить в скважину, будто сам сопротивлялся возвращению хозяина. Когда же замок наконец щёлкнул, звук этот прозвучал в тишине подъезда как выстрел — резкий, беспощадный, возвещающий о вторжении того, кого стены предпочли бы не видеть.

Внутри пахло пылью, сыростью и той особой, горькой ти-

шиной, которая бывает только в домах, давно лишившихся человеческого тепла. Воздух был густым, неподвижным, будто время здесь остановилось десять лет назад и с тех пор не решалось двинуться дальше. Каждая тень в углах казалась не просто отсутствием света, а сгустком невысказанных слов, невыплаканных слёз, непрощённых обид.

Арне не зажигал свет. Ему не хотелось видеть этот дом при свете — хотелось, чтобы воспоминания приходили не как отчётливые картины, а как смутные, болезненные очертания, которые можно было бы принять за игру теней, за обман зрения, за что угодно, лишь бы не за реальность. Он прошёл в гостиную, сел на старый диван, обивка которого давно потеряла цвет и теперь казалась серо-пепельной, как небо над Холменом в самые безнадёжные дни.

Перед глазами тут же вспыхнула та самая картина — та, которую он столько лет пытался стереть, но которая возвращалась всякий раз, когда он оставался наедине с собой. Напарник. Йонас. Его лицо — не мёртвое, не застывшее, а живое, полное той самой, почти детской веры в справедливость, которая так легко разбивается о реальность. Его смех — громкий, искренний, звучавший даже в самых мрачных коридорах участка. Его слова: «Мы справимся, Арне. Мы всё исправим».

А потом — тишина. Та самая, что обрушилась на мир, когда дверь в кабинет Йонаса оказалась запертой изнутри, а когда её выбили, было уже поздно. На столе — короткая

записка, в которой не было ни обвинений, ни оправданий, ни даже просьбы о прощении. Только несколько строк, написанных дрожащей рукой, в которых сквозила такая усталость, такая безнадёга, что читать их было физически больно. И рядом — старая фотография: Йонас с женой, улыбающийся, счастливый, не подозревающий, что его будущее уже сжалось до одного единственного, рокового решения.

Арне закрыл глаза, но это не помогло — образы лишь стали ярче, резче, безжалостнее. Он видел, как Йонас сидит за своим столом, как его пальцы сжимают ручку, как взгляд скользит по строкам, которые он пишет, будто пытаюсь найти в них хоть каплю смысла, хоть намёк на то, что всё это не напрасно. Видел, как он кладёт ручку, откидывается на спинку стула и смотрит в окно — на тот же самый серый дождь, который и сегодня стекал по стёклам, размывая очертания домов, превращая мир в бесформенное, серое пятно.

В углу комнаты, на полке, до сих пор стояла бутылка виски — старая, полупустая, с толстым слоем пыли на стекле. Арне взял её, повертел в руках, словно пытаюсь вспомнить, когда в последний раз прикасался к ней. Потом открутил крышку и сделал большой, обжигающий глоток. Алкоголь ударил по горлу, по груди, по самым тёмным уголкам сознания, на мгновение заглушая ту внутреннюю боль, которая давно стала его постоянным спутником. Но облегчение было обманчивым, мимолётным — оно лишь приоткрывало шлюзы, позволяя воспоминаниям хлынуть внутрь с новой силой.

Бессонница давно стала его верной спутницей. Она приходила не как отсутствие сна, а как особая, мучительная ясность, когда каждый звук, каждый шорох, каждый отблеск света приобретал зловещую значимость. В такие ночи Арне садился у окна и смотрел на город, пытаясь разглядеть в его тёмных улицах хоть какой-то намёк на справедливость, хоть какой-то признак того, что мир не окончательно погрузился во тьму. Но город отвечал ему молчанием — тяжёлым, непроницаемым, будто знал все его тайны и не собирался их выдавать.

Он снова сделал глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, но не приносит ни покоя, ни облегчения. Перед глазами снова возник Йонас — не таким, каким он был в последние дни, а таким, каким Арне запомнил его в лучшие времена: энергичным, полным жизни, готовым броситься в самое пекло, лишь бы защитить тех, кто не мог защитить себя. И от этого контраста — между тем Йонасом и тем, что с ним стало, — боль становилась почти невыносимой.

«Почему ты не сказал мне?» — шептал он в пустоту комнаты, будто надеялся, что стены откликнутся, что из темноты появится знакомый голос и произнесёт хоть какие-то слова, способные оправдать ту пустоту, которая осталась после него. Но ответом была лишь тишина — густая, безжалостная, поглощающая все звуки, все надежды, все попытки найти смысл в том, что казалось бессмысленным.

На полке, рядом с бутылкой, лежала старая папка — по-

тёртая, с выцветшими краями, с едва читаемой надписью на обложке. Арне открыл её медленно, будто боялся, что содержимое рассыплется от одного прикосновения. Внутри были вырезки из газет, отчёты, фотографии с мест преступлений — дела, над которыми они работали вместе. Каждое из них несло в себе отпечаток их общего пути, их надежд, их разочарований. И каждое из них теперь казалось не просто исследованием, а частью той цепи событий, которая в итоге привела к трагедии.

Одно дело особенно бросалось в глаза — старое, почти забытое, связанное с серией убийств, которые тогда так и не удалось раскрыть. В материалах мелькали те же самые символы, что и сейчас: странные монеты, лоскуты ткани с угловатыми узорами, упоминания о «зеркальном убийце». Тогда Йонас был одержим этой версией, он часами сидел над картами, над свидетельствами, пытаясь найти связь, которая ускользала от всех остальных. Он верил, что если раскроет это дело, то сможет доказать, что справедливость всё-таки возможна. Но чем глубже он копал, тем мрачнее становился. Он начал говорить о том, что в Холмене есть силы, которые не хотят, чтобы правда вышла наружу. Что город сам защищает свои тайны, используя людей как пешки в какой-то зловещей игре.

Арне помнил, как пытался отговорить его, как говорил, что нельзя позволять делу поглотить себя, что нужно уметь останавливаться, пока не стало слишком поздно. Но Йонас

лишь качал головой и повторял: «Если я остановлюсь, значит, они победили. Значит, тьма действительно сильнее света». И Арне не нашёл слов, чтобы переубедить его. Не нашёл слов, чтобы сказать, что боится за него. Не нашёл слов, чтобы просто обнять его и сказать: «Давай сделаем перерыв. Давай просто посидим и поговорим о чём-нибудь другом».

Теперь эти невысказанные слова висели в воздухе, тяжёлые, как свинцовые гири, тянули его вниз, напоминая о том, что он тоже был частью этой цепи событий. Что его молчание, его неспособность увидеть, насколько глубоко Йонас погрузился в отчаяние, тоже стало своего рода соучастием.

Он закрыл папку и отложил её в сторону, будто пытаясь спрятать от себя самого эти напоминания о прошлом. Но прошлое не пряталось — оно сидело в комнате, в каждом углу, в каждой тени, в каждой скрипе старого дома. Оно ждало, когда Арне снова посмотрит ему в глаза, когда снова позволит себе почувствовать всю тяжесть своей вины, всей своей неспособности спасти того, кто был ему ближе всех.

За окном дождь усилился, превратившись в сплошную водяную завесу, сквозь которую невозможно было разглядеть даже ближайшие дома. Мир сжался до размеров этой комнаты, до этой бутылки, до этой папки, до этих воспоминаний, которые никак не хотели отпускать. Арне снова приложился к бутылке, но на этот раз алкоголь не принёс даже иллюзии облегчения. Он лишь сделал боль острее, яснее, беспощаднее.

«Я должен был что-то сделать», — прошептал он в тишину, и эти слова прозвучали не как оправдание, а как признание своей слабости, своей неспособности быть тем, кем должен был быть.

И тут, среди этого хаоса воспоминаний, в его сознании мелькнула мысль — не новая, но до этого момента не осознанная до конца. Связь между прошлым и настоящим. Между делом, которое сломало Йонаса, и тем, что происходило сейчас. Между символами, которые они тогда не смогли расшифровать, и монетой, найденной у Софи. Между страхами, которые Йонас пытался разоблачить, и теми, которыми Софи пользовалась как оружием.

Холмен не просто хранил свои тайны — он повторял их, как больной повторяет свои кошмары, снова и снова, пока кто-нибудь не решится разорвать этот круг. И, возможно, именно это и пытался сделать Йонас. Возможно, именно поэтому он не смог остановиться. Потому что знал: если он остановится, тьма поглотит не только его, но и весь город.

Арне встал и подошёл к окну. Дождь продолжал хлестать по стёклам, размывая очертания мира, превращая его в нечто бесформенное и пугающее. Но в этом размытом, искажённом отражении он вдруг увидел не просто город, а лабиринт — лабиринт из страхов, тайн и невысказанных признаний, в котором каждый поворот мог привести либо к правде, либо к гибели.

Он знал, что впереди его ждёт тяжёлый путь. Путь, кото-

рый потребует от него не только профессиональных навыков, не только холодного расчёта, но и способности встретиться лицом к лицу со своими собственными демонами. Путь, на котором ему придётся снова и снова возвращаться в те места, где он когда-то потерпел поражение, где не смог спасти того, кто был ему дорог.

Но теперь у него была цель, которая придавала ему силы. Не просто раскрыть убийство Софи, а разорвать этот порочный круг, который десятилетиями душил Холмен. Раскрыть те тайны, которые город так старательно прятал. И, возможно, тем самым дать хоть какое-то утешение Йонасу — не тому, каким он стал в конце, а тому, каким был в начале: полному надежд, верящему в справедливость, готовому бороться до конца.

Он отошёл от окна, взял папку и сунул её под мышку. Потом налил остатки виски в стакан, поднял его, будто произнося безмолвный тост, и тихо произнёс:

— Прости, Йонас. Я иду по твоему следу. И я не остановлюсь.

Стакан опустел в один глоток, и на мгновение Арне почувствовал, как внутри что-то щёлкнуло — не облегчение, не радость, а холодная, стальная решимость, которая приходит, когда человек наконец принимает свою судьбу, какой бы тяжёлой она ни была.

Он вышел из дома, прикрыв за собой дверь, и дождь тут же набросился на него, словно пытаясь смыть с него все сле-

ды прошлого, все сомнения, все попытки спрятаться от правды. Но Арне не пытался спрятаться. Он шёл вперёд, сквозь ледяные струи, сквозь тьму, сквозь воспоминания, которые больше не имели власти над ним — потому что теперь они стали не грузом, а компасом, указывающим путь к истине.

А Холмен наблюдал за ним из темноты своих улиц, и в его молчании слышалось что-то похожее на предупреждение: «Ты знаешь, куда ведёт эта дорога. Ты знаешь, чем она заканчивается. Но если ты всё равно идёшь — значит, ты готов заплатить любую цену».

И Арне был готов. Потому что знал: иногда единственная возможность искупить свою вину — это дойти до конца, даже если этот конец окажется страшнее любого начала.

Глава 6

Эрик напился, он захотел вновь встретиться. Арне согласился.

Эрик стоял, ссутулившись, словно под тяжестью собственных слов, которые вот-вот должны были сорваться с языка, — слов, способных перевернуть всё, что Арне уже успел выстроить в своей голове.

— Я забыл уточнить важную деталь. Ты думаешь, она была жертвой, — хрипло произнёс Эрик, и в его голосе не было ни вызова, ни бравады — только горькая, выстраданная усталость человека, которому пришлось слишком долго носить в себе правду, не имея сил её высказать. — Ты смотришь на неё и видишь эту витрину: дочь мэра, невесту, девочку, которую кто-то жестоко оборвал. И я... я позволял тебе так думать. Позволял всем так думать. Потому что это было проще. Потому что так было... безопаснее.

Арне не шевельнулся. Он стоял неподвижно, будто боялся спугнуть этот миг откровения, когда человек решается обнажить перед другим не только свою боль, но и свою вину.

— Но правда в том, — продолжил Эрик, и теперь его голос звучал твёрже, будто он наконец нашёл в себе силы

встретиться с этой правдой лицом к лицу, — что Софи умела пользоваться чужими страхами. Она... она обращала их в свою валюту. В рычаги. В ключи к дверям, которые иначе остались бы для неё закрыты. Она знала, чего бояться люди, — тихо, почти шёпотом продолжал Эрик, и его взгляд, блуждавший по холодному полу, наконец остановился на Арне, будто ища в его лице хоть каплю понимания, хоть намёк на то, что его не осудят за эти слова. — Не просто догадывалась — она изучала это. Как охотник изучает повадки зверя. Она замечала, как кто-то вздрагивает при определённом имени, как кто-то отводит глаза, когда заходит речь о старых делах, как чья-то рука едва заметно дрожит, когда она задаёт «невинный» вопрос. И потом... потом она использовала это. Не грубо. Не в лоб. Она действовала тонко, почти незаметно — так, что человек сам, по своей воле, отдавал ей то, что она хотела. Доказательство. Информацию. Доступ.

Он сделал паузу, и в этой паузе прозвучала вся тяжесть его признания — признания не столько в том, что он знал о её методах, сколько в том, что он мирился с ними. Или даже... оправдывал.

— Например, — глухо произнёс он, — она знала, что старый сторож на складе боится, что его обвинят в халатности — ещё с тех времён, когда там случился пожар. И она никогда не угрожала ему. Никогда не говорила: «Расскажи, или я всё расскажу». Она просто... напоминала. Случайно. Вскользь. Как будто между делом. И он сам начинал выкла-

дивать ей всё — про ночные визиты, про странные машины, про людей, которых не должно было быть на территории. Она умела заставить человека бояться не её, а последствий собственных тайн. И этот страх делал его податливым. Делал его... послушным.

Арне медленно кивнул, и в его глазах мелькнуло то самое, почти неуловимое напряжение — напряжение человека, который вдруг увидел узор, до этого казавшийся бессмысленным набором линий.

— А отец? — тихо спросил он. — Мэр. Он знал?

Эрик горько усмехнулся — и в этой усмешке не было ни веселья, ни облегчения, а только пепел давно прогоревшей надежды.

— Он не просто знал, — тихо произнёс он. — Он... поощрял. В своём роде. В Холмене власть держится не на законах, а на слабостях. На том, что люди боятся потерять: репутацию, должность, свободу, покой. Софи была его... идеальным инструментом. Умная, наблюдательная, безжалостная в своей целеустремлённости. Она могла вывести то, что не удалось бы ни одному следователю, ни одному шпиону. И делала это так изящно, что никто даже не понимал, что его только что обыскали до самого дна души.

В комнате стало вдруг невыносимо холодно — не от температуры, а от той ледяной ясности, которая приходит, когда рушится привычный образ человека. Арне смотрел на Эрика, и перед его внутренним взором Софи представала уже

не беззащитной жертвой, а фигурой сложной, противоречивой, пугающе расчётливой — девушкой, которая знала цену страху и умела превращать его в оружие.

— И ты... ты был частью этого? — осторожно, почти благоговейно спросил Арне, боясь спугнуть хрупкое равновесие этого признания.

Эрик резко, почти судорожно покачал головой.

— Нет, — твёрдо произнёс он. — Я... я пытался её остановить. Пытался объяснить, что так нельзя. Что она сжигает вокруг себя мосты, что однажды кто-то не испугается, а разозлится. По-настоящему. И ударит в ответ. Но она... она не слушала. Она верила, что знает, как управлять этим миром. Что если держать в руках чужие страхи, то собственный страх перестанет иметь значение.

Его голос дрогнул, и он на мгновение прикрыл глаза, будто пытаясь спрятаться от собственных воспоминаний.

— Однажды, — тихо продолжил он, — я видел, как она разговаривала с одним из советников мэра. С человеком, у которого были... тёмные дела. Старые. О которых все делали вид, что забыли. Она говорила с ним так спокойно, так... обыденно, будто обсуждала погоду. А он... он побелел. Прямо на глазах. Его руки дрожали так, что он пролил кофе. И когда она ушла, он смотрел ей вслед так, будто увидел призрак. Призрак своего прошлого.

— Значит, у неё было много врагов, — негромко произнёс Арне, и это не было вопросом — это была констатация

факта, холодная и безжалостная, как лезвие скальпеля.

— У неё было много тех, кто её боялся, — поправил Эрик, и в этом уточнении прозвучала вся суть трагедии. — А тот, кто боится, рано или поздно начинает ненавидеть. И желать, чтобы источник этого страха исчез. Навсегда.

Арне снова посмотрел на монету, лежавшую на стальной подставке. Теперь её зловещий блеск казался ему не просто знаком, а чем-то вроде печати — печатью, которой кто-то поставил точку в этой игре. Кто-то, чьи страхи Софи сумела нащупать, но не сумела просчитать последствия.

— Этот блокнот, — тихо сказал он. — Тот, куда она всё записывала... Если в нём были имена, детали, схемы... тогда он становится не просто уликой. Он становится приговором. Для неё. И, возможно, для кого-то ещё.

Эрик медленно поднял на него глаза — в них не было больше ни ярости, ни отчаяния, а только холодная, горькая ясность человека, который наконец увидел всю картину целиком и понял, насколько она ужасна.

— Да, — тихо произнёс он. — И тот, кто его забрал... он не просто хотел скрыть правду. Он хотел убедиться, что её больше никто не сможет использовать. Ни против него. Ни против кого-либо ещё.

В воздухе повисло тяжёлое, почти осязаемое понимание: Софи погибла не потому, что стала случайной жертвой. Она погибла потому, что зашла слишком далеко — туда, где страх уже не подчинялся её воле, а превращался в ярость.

В жажду мести. В холодную, расчётливую необходимость устранить угрозу.

— Спасибо, Эрик, — тихо произнёс Арне. — Это многое меняет.

Эрик кивнул, но в его взгляде не было облегчения — только тяжесть, которая, казалось, теперь навсегда станет его спутницей.

— Я не оправдываю её, — вдруг тихо, но твёрдо произнёс он, будто боялся, что его слова поймут неправильно. — То, что она делала... это было жестоко. Это было... неправильно. Но она была такой, какой её воспитал этот город. Такой, какой её сделал её отец. И я... я любил её. Даже за это. Даже за её тьму.

Арне сделал шаг вперёд и положил руку на плечо Эрика — не сильно, не властно, а так, как кладут руку на плечо человека, стоящего на краю пропасти, чтобы он почувствовал, что не один.

— Мы найдём того, кто это сделал, — спокойно, но твёрдо произнёс он. — Не ради неё прежней. Не ради её методов. А ради того, чтобы этот город больше не мог прятать свои грехи за чужими страхами.

Глава 7

В комнате для допросов было слишком тихо — не та тишина, что приходит с покоем, а та, что оседает, как пепел, после крика. Воздух был густ от напряжения, и каждый вдох

давался с усилием, будто сквозь влажную ткань. Стены, выкрашенные в бледно-серый, казались не преградой, а чем-то живым, впитывающим слова, чтобы потом, в одиночестве, перешёптывать их друг другу. На столе лежала серебряная монета — та самая, найденная во рту Софи, — и её тусклый блеск напоминал о лунном свете, который никогда не согревает.

Арне Стен сидел напротив мэра Эриксона, не торопясь начинать. Его поза была обманчиво расслабленной, но в каждом движении сквозила готовность к прыжку — как у зверя, который знает, что добыча вот-вот дрогнет. Пальцы Арне едва касались монеты, будто он пытался прочесть на ней не координаты, а чужую душу. ПТСР временами накатывал на него волнами, и сейчас он чувствовал, как прошлое сжимает горло, нашептывая: «Они все лгут. Даже те, кто молчит».

Эмиль стоял у двери, стараясь не шевелиться, чтобы не нарушить хрупкое равновесие. В его груди всё ещё жила вера в справедливость — но она уже трещала по швам, как старая ткань, и каждый новый факт, каждая ложь, сказанная в этой комнате, рвала её ещё на одну нитку.

Мэр Эриксон сидел прямо, словно его позвоночник был отлит из стали, но эта твёрдость была не силой, а каркасом, удерживающим разваливающееся здание. Его пальцы, переплетённые на столе, напоминали корни старого дерева, вцепившиеся в землю, чтобы не быть вырванными бурей. Он смотрел не на Арне, а на монету, будто она была ключом к

спасению, который он не умел повернуть.

Сильвия, его жена, сидела рядом, опустил глаза. Её поза была неестественно неподвижной — так замирают животные, надеясь, что хищник их не заметит. В её молчании чувствовалась не покорность, а усталость от бесконечного выбора между правдой и комфортом. Она знала всё — или почти всё — и выбрала закрыть глаза, потому что смотреть было невыносимо.

Йонас, брат Софи, сидел на стуле, который был слишком велик для него. Его ноги не доставали до пола, и он покачивал ими, будто пытался найти опору в воздухе. В его глазах читался не детский страх, а что-то более глубокое — понимание того, что мир, который ему обещали, оказался лживым, и теперь он должен сам решать, кому верить.

— Расскажите мне о той ночи, — голос Арне прозвучал негромко, но в нём была такая тяжесть, что все в комнате невольно вздрогнули. — О зимнем солнцестоянии. Где была Софи?

Мэр открыл рот, чтобы заговорить, но Сильвия опередила его:

— Она ушла поздно, — произнесла она, не поднимая глаз. — Сказала, что идёт к подруге. Мы не стали её останавливать.

— «Не стали» или «не захотели»? — переспросил Арне, и в его голосе прозвучало столько горечи, что даже Эмиль почувствовал, как по спине пробежал холодок. — Это разные

вещи, мадам. Одно — слабость, другое — соучастие.

Сильвия вздрогнула, но не подняла глаз. Её пальцы сжались в кулаки, и костяшки побелели, выдавая напряжение, которое она так старательно прятала.

— Мы не знали, — прошептала она. — Мы не могли знать...

— Но вы догадывались, — перебил её Арне, и его голос стал жёстче. — Вы видели, как она меняется, как уходит в тень, как в её глазах появляется что-то, чего не должно быть у ребёнка. И вы закрыли глаза. Потому что правда была неудобной. Потому что она могла разрушить ваш уютный мир.

Мэр резко поднял голову, и в его взгляде вспыхнул гнев — не на Арне, а на самого себя, на свою беспомощность.

— Мы делали всё, что могли! — выкрикнул он, и голос его дрогнул, выдавая ту самую уязвимость, которую он так старательно прятал за маской власти. — Мы любили её! Мы хотели, чтобы она была счастлива!

— Любили, — повторил Арне, и это слово прозвучало в его устах как приговор. — Но любовь — это не только дарить подарки и закрывать глаза на правду. Любовь — это смотреть в лицо страху, даже когда он смотрит на тебя из глаз собственного ребёнка.

В комнате повисла тишина, густая и липкая, как смола. Йонас перестал качать ногами и замер, будто боялся, что любое движение выдаст его, раскроет ту тайну, которую он но-

сил в себе, как камень в кармане.

Арне медленно повернулся к мальчику:

— Йонас, — произнёс он мягко, но в этом мягком тоне чувствовалась стальная решимость. — Ты видел что-то в ту ночь, верно? Что-то, что взрослые пытаются скрыть. Расскажи мне.

Мальчик сглотнул, и этот тихий, почти неслышный звук прозвучал в тишине комнаты громче любого крика. Его глаза метнулись к родителям, словно ища разрешения — или прощения.

— Я... я видел, как она уходила, — прошептал он, и его голос дрожал, как пламя свечи на ветру. — Она была не одна. С ней был мужчина. Я не знаю, кто он. Но он... он держал её за руку. Не как друг. А как будто... как будто он её вёл.

Сильвия резко подняла голову, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на ужас — не от слов сына, а от того, что эти слова наконец были произнесены вслух, и теперь их нельзя было забрать обратно.

— Ты должен был сказать нам! — воскликнула она, и голос её сорвался на крик, который тут же сменился шёпотом, полным отчаяния. — Почему ты не сказал?

— Вы бы не поверили, — тихо ответил Йонас, и в этих простых словах прозвучала вся горечь ребёнка, который понял, что его правда никому не нужна. — Вы всегда говорили, что я всё придумываю.

Арне наклонился вперёд, и его лицо оказалось совсем

близко к лицу мальчика.

— Я верю тебе, — произнёс он тихо, но твёрдо. — И я найду того, кто это сделал. Даже если для этого мне придётся разворошить каждую тень в этом городе.

Эмиль сделал шаг вперёд, пытаясь хоть как-то смягчить напряжение, но его голос прозвучал слишком молодо, слишком чисто для этой комнаты, пропитанной ложью и болью.

— Нам нужно проверить все контакты Софи, — сказал он, обращаясь скорее к Арне, чем к остальным. — Её телефон, переписки, всё, что может указать на этого мужчину.

Арне кивнул, не отрывая взгляда от мэра.

— И ещё, — добавил он, и в его голосе прозвучала угроза, тихая, но неотвратимая, как надвигающаяся буря. — Я хочу знать, что связывает эту монету с делом двадцатилетней давности. И не пытайтесь мне лгать. Я чувствую ложь, как чувствуют запах гари — ещё до того, как увидят пламя.

Мэр побледнел, и на мгновение маска власти сползла с его лица, обнажив того человека, который стоял за ней: испуганного, загнанного в угол, готового на всё, чтобы сохранить то, что у него осталось.

— Я не понимаю, о чём вы говорите, — произнёс он, но голос его дрожал, выдавая ложь.

— О, вы понимаете, — спокойно ответил Арне. — Вы понимаете лучше всех. Потому что вы были здесь двадцать лет назад. Вы знали того убийцу. И, возможно, вы знаете, кто решил повторить его путь.

Тишина в комнате стала почти осязаемой. Казалось, даже воздух замер, ожидая, что произойдёт дальше.

Дверь комнаты для допросов захлопнулась за спиной Эмиля с таким звуком, будто город сам отрезал их от остального мира — глухо, окончательно, как крышка гроба. Арне не спешил нарушать тишину: он знал, что в этой тишине, густой и вязкой, как застывший дёготь, слова начинают звучать громче крика. Монета по-прежнему лежала на столе — тусклый серебряный глаз, который видел слишком многое.

— Продолжайте, — произнёс Арне наконец, и голос его прозвучал не как требование, а как удар колокола в пустой церкви: звук раскатился, заполнил углы, заставил тени в комнате дрогнуть. — Расскажите о её друзьях. О тех, с кем она исчезала на целые вечера. О тех, кому она могла угрожать.

Мэр Эриксон выпрямился, и на мгновение в нём снова проступила привычная осанка властителя: прямая спина, гордо поднятый подбородок, взгляд, обещающий кару любому, кто посмеет усомниться в его праве распоряжаться. Но стоило Арне чуть наклонить голову, взглянуть в него — и маска дала трещину. Пальцы мэра, лежавшие на краю стола, едва заметно дрогнули. Он попытался сжать их в кулак, но получилось неловко, по-детски, будто он впервые учился прятать страх. Эта мелкая, почти незаметная дрожь противоречила всему его облику — и именно она выдавала его лучше любых признаний.

— У неё не было друзей, — сказал мэр, и в его голосе прозвучала та самая твёрдость, которая держится на одной только привычке. — Она была замкнутой. Держала всё в себе.

Сильвия не подняла глаз. Её руки лежали на коленях, сложенные так ровно, будто она репетировала эту позу неделями: идеальная жена, идеальная мать, безупречная хозяйка дома. Но на тыльной стороне её ладони, там, где кожа была тонкой и полупрозрачной, пульсировала синяя жилка — быстро, неровно, как крыло пойманной птицы. Этот предательский ритм выдавал её: под холодной, отполированной внешностью билось сердце, полное вины. Она знала всё — или почти всё — и выбрала молчать, потому что правда была тяжелее лжи.

— Замкнутой? — переспросил Арне, и в этом слове прозвучало столько скепсиса, что даже воздух в комнате стал холоднее. — Та, что шантажировала половину элиты города, была замкнутой? Вы сами слышите, как нелепо это звучит?

Мэр дёрнулся, будто от пощёчины, но тут же снова выпрямил спину. Его лицо оставалось спокойным, почти бесстрастным, но в глазах мелькнуло что-то, похожее на панику — короткая, острая вспышка, которую он тут же попытался погасить.

— Я не знаю, о чём вы говорите, — повторил он, и теперь в его голосе слышалась не уверенность, а отчаянная попытка удержать контроль. — Мы не были в курсе её... дел.

Арне медленно перевёл взгляд на Йонаса. Мальчик по-прежнему сидел на слишком большом для него стуле, и его ноги, не достававшие до пола, снова начали покачиваться — ритмично, машинально, как будто это движение помогало ему держаться на плаву в этом море взрослых слов и взрослых тайн.

А за стенами комнаты город жил своей особой, зловещей жизнью. Улицы, узкие и извилистые, словно нарочно петляли, чтобы никто не мог пройти по ним прямо, не сбившись с пути. Дома смотрели на прохожих пустыми окнами, в которых отражался только снег — белый, холодный, безжизненный. Казалось, что сами стены впитали в себя все тайны, которые когда-либо шептали в этих комнатах, и теперь хранили их в своих трещинах, как старые письма в запертых ящиках.

Ветер гулял по переулкам, завывая в трубах и стуча ставнями, будто пытался докричаться до тех, кто ещё мог слышать. Он приносил с собой запах беды — не явный, не резкий, а едва уловимый, смешанный с запахом мокрого камня и талого снега. Этот запах был знаком Арне: он чувствовал его всякий раз, когда подбирался к правде слишком близко. Город знал. Он знал всё: и о Софи, и о монете. Он шептал об этом в скрипе снега под ногами, в стоне старых деревьев, в тенях, которые ложились на мостовые слишком ровно, будто были нарисованы чьей-то рукой.

Когда Арне и Эмиль вышли на улицу, воздух ударил их в

лицо — колючий, ледяной, будто сам город пытался их остановить. Снег падал крупными, тяжёлыми хлопьями, ложился на плечи, таял и стекал по воротникам ледяными струйками. Где-то вдалеке, на другом конце города, пробился сквозь вой ветра глухой удар колокола — один, второй, третий. Звук был неровным, будто звонарь сам не верил в то, что делал.

— Куда теперь? — спросил Эмиль, и его голос прозвучал непривычно тихо, будто он боялся нарушить эту странную, напряжённую тишину.

— В архив, — коротко ответил Арне, не глядя на него. — Нужно поднять дело двадцатилетней давности. Те координаты на монете... они не случайны. Я чувствую это.

Эмиль кивнул, но в его глазах читалось что-то новое — не просто усталость, а глубокое, болезненное осознание того, что мир, в котором он вырос, был совсем не таким, каким его рисовали в учебниках. Его вера в систему, ещё недавно такая твёрдая и чистая, теперь казалась ему самому хрупкой, как тонкий лёд на озере.

Они шли по улице, и каждый их шаг отдавался эхом в пустых переулках. Дома провожали их взглядами своих окон, ветер шептал что-то неразборчивое, а снег продолжал падать, замечая следы — и старые, и новые.

Глава 8

В кабинете мэра, оставшись наконец одни, Эриксон и Сильвия сидели в тишине, которая теперь была не просто отсутствием звуков, а чем-то живым, давящим, невыносимым. Мэр встал и подошёл к окну, глядя на падающий снег так, будто надеялся увидеть в нём ответ. Его пальцы сжимали подоконник с такой силой, что костяшки побелели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.